

Александр Иванович Куприн

Последний дебют



Александр Куприн

Последний дебют

«Public Domain»

1889

Куприн А. И.

Последний дебют / А. И. Куприн — «Public Domain», 1889

Первое выступление Куприна в печати. За публикацию юнкер Куприн был наказан двумя сутками карцера.

Александр Иванович Куприн

Последний дебют

Посвящ. Н. О. С—ой.

Я, раненный насмерть, играл,

Гладьяторов бой представляя...

Гейне.

Антракт между третьим и четвертым действиями кончался. Капельмейстер Иван Иванович фон Геккендольф только что добрался до самого интересного места увертюры, изображавшей очень наглядно плач иудеев в пленении вавилонском.

Иван Иванович ужасно любил такие пьесы, где все время шла отчаяннейшая fuga, – где жалобное рыдание флейт смешивалось с патетическими восклицаниями кларнета, – где гудел самым безжалостным образом тромбон, – и все покрывалось глухим рокотанием турецкого барабана, где музыканты, приведенные в ужас этим хаосом звуков и готовые положить инструменты, кидали на капельмейстера взоры, полные самого мрачного, безнадежного отчаяния...

Тогда Иван Иванович производил чудеса: он бросался из стороны в сторону, делал самые трудные телодвижения, удивляя публику своею гибкостью, и, наконец, красный от усталости и волнения, обводил зрителей торжествующим взором, когда инструменты сливались в общем хоре.

На этот раз публика не могла отдать должного удивления музыкальным подвигам Ивана Иваныча, потому что все были заняты разговорами о драме, которая шла в первый раз. Называли вполголоса имя автора и указывали на литерную ложу, где сидел молодой человек с растрепанной шевелюрой.

На сцене шла суматоха. Алексей Трофимович Петунья, исполнявший одновременно должность и декоратора, и машиниста, и сценариста, был в страшном волнении.

– Опускайте, опускайте кулисы-то! – кричал он, бегая без сюртука по сцене. – Да тише, осторожнее, говорят вам! Послушай, ты, баранья голова, как тебя звать?

– А Кириллом, – отвечал, усмехаясь, кудрявый рослый парень.

– Так ты, голубчик Кирилл, сбегай сейчас вниз, в кассу. Спроси у Андрей Филиппыча мой саквояж, понимаешь? Ну, мешочек такой, маленький, кругленький... Да ты пошевеливайся, бегом! Ну, что вы там заснули? Где же река-то? Николай Антонович, вы реку позабыли, давайте реку!

– Пуцай висит, – отвечал сверху грубый голос, – таперя кулисы мешают, тады легче будет.

– А вы, Николай Антонович, вал починили? Прошлый раз Анемподистов четырнадцать зубцов сломал. Александр Петрович, я просто не знаю, что мне делать, облака истерзаны в клочки, река просвечивает, кулисы старые, гнилые...

Последние слова относились к антрепренеру и директору труппы, быстро проходившему через сцену с хлыстов в руке. Это был высокий, статный мужчина лет тридцати пяти. Лицо его, обрамленное густой гривой черных волос, живописно падавших на плечи, носило печать какой-то гордой, самоуверенной силы. Особенно хороши были его большие, серые, холодные глаза, тяжелый взгляд которых не могли выдержать многие, даже очень решительные люди.

– Обратите, пожалуйста, внимание, – вопил Алексей Трофимович, жестикулируя самым отчаянным образом. – Андрюшка опять запил, старые кулисы никуда не годятся, могут упасть, разбить кому-нибудь голову...

– Потом, потом, – прервал рассеянно Александр Петрович. – Где Гольская?

– Оне в уборной-с, если не ошибаюсь, – отвечал Алексей Трофимович и опять побежал раздавать приказания.

Поднявшись наверх, Александр Петрович остановился перед маленькой крашеной дверью и постучал.

– Кто там? Войдите! – раздался за дверью приятный женский голос.

Лидия Николаевна Гольская была красавица.

Трагик Анемподистов, игравший на сцене под псевдонимом Фальери и поразивший купчих в самое сердце краткой, но ядовитой эпиграммой:

Фигура
Без турнюра! —

всякий раз, когда заходила речь о Лидии Николаевне, закатывал глаза под лоб так, что несколько минут в орбитах вращались одни громадные белки, и восклицал хрипящим басом: «Богиня! Классическая богиня!» Действительно, тонкие правильные черты лица, классический профиль и будто мраморная, прозрачно-матовая бледность лица Польской позволяли дать ей это название.

При входе антрепренера Лидия Николаевна сделала порывистое движение вперед, но опять опустилась в кресло, и только густой румянец залил ее бледные щеки.

– Чем я обязана чести видеть вас у себя? – спросила она через силу, и в тоне ее голоса зазвучали худо скрываемые горечь и презрение.

Александр Петрович тряхнул гривой черных волос. Этот прямой вопрос ему сильно не понравился, потому что он хотел приступить к объяснению исподволь.

– Я просил бы вас, Лидия Николаевна, оставить, во-первых, этот тон, который мне неприятен, а затем хотел вам доложить, что меня положительно возмущают ваши вздохи и безнадежные взгляды. На каком основании это все делается? А сегодня вы, как будто нарочно, из рук вон плохо играете. Хорошо еще, что вас любит публика, а то ведь провалили бы пьесу, окончательно провалили бы... Чисто женская логика! Разозлится на одного человека, а делает неприятности двадцати пяти. Здесь, кроме меня, страдает автор, страдают ваши товарищи; я уверен, три четверти зрителей не слышали вашего умирающего голоса.

И он остановился против нее, раздраженный, взволнованный, ожидающий ответа.

– Александр Петрович, представьте себе, – заговорила, наконец, Лидия Николаевна прерывающимся голосом, представьте себе женщину, которая полюбила горячо и сильно, – полюбила в первый раз в жизни.

Александр Петрович сделал нетерпеливое движение.

– Подождите немного! Представьте себе дальше, что она отдала все, что только может отдать женщина, а он надругался над этой горячей, слепую любовью, бросил эту женщину на произвол судьбы. И представьте себе, Александр Петрович, что этой женщине приходится развлекать тысячную толпу именно в то время, когда она, быть может, близка к самоубийству или к безумию!

– Ну вот! Я так и знал, – прервал нетерпеливо антрепренер, – и к чему здесь эта напушенная иносказательность, когда вы могли бы прямо потребовать у меня объяснения? Когда я вам говорил, что я вас люблю, – я говорил от чистого сердца, точно так же, как и вы... по всей вероятности. Если бы вы меня разлюбили, я не стал бы ныть и требовать любви! Если бы мне было тяжело, я повесился бы на первой балке моего театра; если бы меня мучила зависть и злоба против моего соперника, я не стал бы сдерживаться, а сделал бы то, что мне хотелось бы сделать: разбил бы, например, кому-нибудь голову вот этим самым графином...

– Александр Петрович, – возразила Гольская, – вы забываете, кажется, что я женщина, что...

– Ах, не все ли равно! Я, признаюсь, не понимаю, совершенно не понимаю сентиментальных пошляков, которые уверяют, что раз сошлись мужчина и женщина, между ними воз-

никает какое-то взаимное нравственное обязательство. Стыдитесь, Лидия Николаевна! Так простительно думать девицам, которые, заслышав в словах мужчины намек на любовь, тащат его к брачному сожителству! Я вам понравился, вы мне понравились, – это, по-вашему, естественно? А разве неестественно и то, что вы мне перестали нравиться?

– Александр Петрович! А ваши клятвы, обещания? Вспомните, как вы призывали все, что еще для вас осталось святого, в свидетели вашей любви!

– Что ж из этого? Или вы думаете, я сделан из дерева? Страсть, которая одинаково палила и меня и вас, заставила бы всякого на моем месте клясться точно так же, как клялся я! Ну, хорошо, положим, я должен был сдержать эти клятвы; да неужели вам будет приятно, если я начну снова уверять вас в своей любви, после того как сказал вам, и очень ясно, что вы мне перестали нравиться? А ведь вы должны со мной согласиться, что я не могу по произволу вызывать в себе нежные чувства!

– Александр Петрович, вы хотя бы вспомнили, что я должна сделаться матерью, – прошептала, отворачиваясь, Лидия Николаевна...

Она так была хороша в этом замешательстве, что у антрепренера мелькнула на мгновение мысль: а ведь я могу еще ее уверить, – скажу, что хотел испытать. Но это было только на мгновение; он отогнал соблазнительную мысль и отвечал суровым тоном:

– Ну что же-с? Обеспечить законным образом существование ребенка? Этого вам хочется? С удовольствием...

Он не успел закончить фразы. Оскорбленная женщина встала с кресла и, задыхаясь от гнева, произнесла почти шепотом:

– Вон!

Это «вон!» было сильнее громкого крика. Человек, никогда, ни при каких обстоятельствах не терявшийся, покорно вышел, понурился голову.

Лидия Николаевна долго смотрела на затворившуюся дверь и почти без чувств опустилась в кресло. Тяжелые мысли, как кошмар, пронеслись и путались в ее голове, а вместе с ними создавалось и зрело какое-то ужасное решение.

– Ваш выход, Лидия Николаевна, – раздался через некоторое время сиплый тенор Вальцова, первого комика и не последнего шулера на все руки, как называл его язвительный Анемподистов, – поскорее, пожалуйста.

Она сумела победить волнение, недаром она была превосходной артисткой, и сухо, но твердо отвечала:

– Иду!.. Скажите, что иду.

На сцене было душно. Шел последний акт, в котором молодая девушка, обманутая возлюбленным (эту роль исполнял антрепренер) и осыпанная незаслуженными упреками, принимает яд и умирает, унося в могилу проклятия тому, кого она так сильно любила. Гольская стояла в ожидании своего выхода, прислонившись к кулисе, бледная, с шибко бьющимся сердцем. Кто-то взял и пожал ее руку. Она услышала над ухом участливый голос режиссера:

– Вы бледны, как смерть, Лидия Николаевна, не хотите ли воды?..

Она молча, отрицательно покачала головой.

«Начинается, начинается, – со страхом думала Лидия Николаевна, – спрошу в последний раз, и он должен ответить, должен под чужими словами понять мои мучения... Ах, как стучит сердце... А этот противный Анемподистов кричит и кривляется!»

Она дождалась, наконец, момента, когда Анемподистов, изгибаясь в судорожных движениях, долженствовал изображать гнев, удалился за кулисы, призывая замогильным басом все громы небесные на чью-то несчастную голову, дождалась резкого шепота режиссера: «Вам, Лидия Николаевна», – дождалась и вышла.

Она вышла, прекрасная и величественная в своей скорби, и уж один вид ее заставил вздрогнуть и забиться сотни сердец.

Она ничего не видала, кроме мощной фигуры, неподвижно стоявшей посреди сцены, и сама не знала, какое чувство будила в ней эта фигура: прежнюю ли беззаветную любовь, или глубокую ненависть и презрение...

«Что он скажет? – пронеслось в уме. – Неужели не тронется это холодное сердце? Скажи, что ты меня любишь, обними меня по-прежнему, я все отдала тебе, – я тебя любила без конца, без оглядки... Но разве это возможно, разве осталась для меня какая-нибудь надежда?.. Вот он что-то говорит... Нет! Это те же холодные, жестокие слова, та же убийственная, расчитанная насмешка...»

Она рыдала, ломая руки, она умоляла о любви, о пощаде. Она призывала его на суд божий и человеческий и снова безумно, отчаянно рыдала...

Неужели он не поймет ее, не откликнется на этот вопль отчаяния?

И он один из тысячи не понял ее, он не разглядел за актрисой *женщину*, холодный и гордый, он покинул ее, бросив ей в лицо ядовитый упрек.

Она осталась одна.

Всем становилось жутко, каждый чувствовал, как по спине у него пробежала холодная волна.

Суфлер в изумлении захлопнул книгу, – в ней не было ни одного слова, похожего на эти, полные мрачной скорби слова.

Скрипач, начавший было тянуть сурдинку, остановился и застыл на месте, с раскрытыми от ужаса глазами.

А она каким-то надорванным голосом рассказывала историю своей несчастной, погибшей любви, – роптала на небо и просила у него смерти, молилась за человека, разбившего ее жизнь, и призывала на его голову проклятия. В зале царил гробовая тишина, – каждое слово было слышно с ужасной отчетливостью...

Вдруг Гольская остановилась и медленно подошла к рампе. Она уже не рыдала, не ломала в отчаянии руки; ясное спокойствие разлилось по ее лицу. В руках у нее сверкал и искрился граненый флакончик с темной жидкостью.

«Ах, какой отвратительный запах... Страшно... Надо сделать усилие... Горько... Жжет в груди...»

Она обвела зрителей большими, изумленными глазами... побледнела, зашаталась и со страшным, раздирающим душу криком упала на пол. Восторг и какое-то растерянное недоумение изображались на бледных лицах зрителей. При гробовом молчании медленно опускался занавес, но – мгновение, и театр задрожал от бури аплодисментов.

– Гольская! Гольская! – раздавалось отовсюду, раек неистово шумел и топал ногами, слышались истерические рыдания. Угол занавеса дрогнул, кто-то нерешительно выглянул со сцены и скрылся.

– Гольская! Гольская! браво! – раздавались неумолкающие крики; занавес опять колыхнулся, на сцену посыпались венки и букеты.

Но что это? У рампы показался человек с бледным, испуганным лицом. Он медленно обвел залу помутившимися от слез глазами и едва слышно произнес дрожащим голосом:

– Господа, Гольской не стало...

1889